

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН



ЛУННЫЙ ДОЛГ

КНИГА ПЕРВАЯ

Господин ПРОХОЖИЙ



Господину Прохожему



Александр Ладогин

Господин прохожий

<https://litres.ru/74639713>

SelfPub; 2026

Аннотация

В 2005 году полковник контрразведки Дмитрий Корсаков получает редкую роскошь - целый месяц свободного времени. Он едет в Петербург, где родился и которого почти не знает.

Ночная прогулка заканчивается невозможным: в старом петербургском дворе он оказывается в 1905 году.

В кармане - деньги из будущего.

На улицах - революция, сыщики, заговорщики и бомбы в конфетных коробках.

Корсаков умеет распознавать ложь и предотвращать покушения.

Но как вести расследование, если даже собственную биографию приходится скрывать?

Пока он ищет путь обратно, выясняется странное: в чужом столетии кто-то знает его имя. Знает, откуда он пришёл. И, похоже, заранее рассчитал каждый его шаг.

Чем ближе Корсаков к разгадке, тем опаснее становится игра.

Он приехал в Петербург отдохнуть от чужих операций. Теперь ему предстоит раскрыть одну из них - ту, в которой главным объектом стал он сам.

Первая книга цикла "Лунный долг"

Содержание

Глава первая. Новые погоны

5

Конец ознакомительного фрагмента.

27

Александр Ладогин Господин прохожий

Глава первая. Новые погоны



I

*Поезд Москва – Санкт-Петербург. Ночь на 14 октября
2005 года.*

Поезд тронулся без толчка, и перрон Ленинградского вокзала поплыл назад вместе с фонарями, тележками носильщиков и провожающими, которые всё ещё махали в тёмные окна, не видя кому машут, и, вероятно, не слишком об этом заботясь, потому что провожать на ночной поезд – это всегда немного обряд и лишь отчасти прощание.

Дмитрий Сергеевич Корсаков сидел у столика в двухместном купе один. Второе место пустовало: проводница, заглянув с билетами, объявила, что пассажир не явился. Он не возражал. За двадцать лет службы это был первый случай, когда отсутствие напарника его обрадовало, и ему хотелось теперь только тишины, стакана чая в подстаканнике и права ничего не решать до утра.

Чай принесли почти сразу. Ложечка позвякивала о стекло на стыках, подстаканник был тяжёлый, с паровозом и колосьями, и Корсаков поймал себя на том, что разглядывает чеканку так, как разглядывал бы чужой документ: где стёрлось, где подделка, где прошла рука мастера. Профессия не уходила в отпуск вместе с ним. Она ехала в том же купе, занимала оба места и, по всей видимости, тоже пила чай.

Он расстегнул куртку и вытянул ноги, насколько позволял столик, потому что при его росте ноги в любом купе приходилось куда-нибудь девать, как девают лишний багаж. Левая лодыжка отозвалась тупым, привычным нытьём. Она всегда ныла к перемене погоды, с тех самых пор, как на чемпионате по боевому самбо он неудачно встал после броска и услы-

шал внутри сухой щелчок, похожий на треск ветки под снегом. Медаль он тогда всё равно взял, а лодыжку так до конца и не вылечил, и с годами научился относиться к ней как к старому, капризному, но верному сослуживцу, которого не уволишь и не переведёшь в другой отдел.

Утром того же дня он стоял перед фотографом в управлении кадров.

— Подбородок чуть выше, товарищ полковник. Не так. Вот так. Не дышите.

Товарищ полковник не дышал. Новый китель сидел на плечах непривычно жёстко, погоны с двумя просветами и тремя большими звёздами ещё отливали фабричным блеском. Фотограф щёлкнул, заглянул в окошко камеры, щёлкнул ещё раз и сообщил, что снимок пойдёт в личное дело. Корсаков кивнул. В личном деле накопилось уже немало его фотографий: лейтенант с тонкой шеей, капитан с усами, которые потом пришлось сбрить, майор с запавшими глазами после одной командировки, о которой он никому не рассказывал. Теперь там появится полковник. Тридцать восемь лет.

Начальник управления принял его в одиннадцать, на пять минут, стоя.

— Приказ подписан. — Генерал протянул руку. — Направление тебе известно. Через месяц ты мне нужен свежим, Дмитрий Сергеевич. Не через месяц и один день. Свежим. Уезжай из Москвы. Куда хочешь, только чтобы я тебя не видел.

— Принято, — ответил Корсаков.

Генерал усмехнулся одной бровью. Это «принято» знало всё управление.

Куда хочешь. Он думал над этим весь день, пока сдавал дела, подписывал бумаги и отказывался от рюмки в кабинете у бывшего начальника отдела. Море в октябре холодное. Заграница означала лишние анкеты. Дачи у него не было. Квартуру в Москве он снимал, своей так и не обзавёлся, и возвращаться туда, в пустые комнаты с недельной пылью на телевизоре, не хотелось.

А вечером, стоя у кассы, он вдруг произнёс: «Санкт-Петербург. На сегодня. Любой поезд».

Произнёс и сам удивился.

Он родился там в марте шестьдесят седьмого и прожил три года с небольшим. Потом отца перевели в Москву, и Ленинград остался в семье рассказами матери: про лёд на Неве, про мосты, которые ночью поднимают, про очередь за пышками и трамвай, звеневший под окном на окраине, где кругом стояли одинаковые пятиэтажки. Сам он не помнил ничего. Только одно, и то неизвестно, своё или пересказанное: высокое белое небо и чьи-то руки, поднимающие его к окну.

Мать позвонила ему в такси.

— Митя, ты как? — спросила она тем голосом, каким спрашивала с тех пор, как он надел погоны: не про здоровье, а жив ли.

— Жив, мама. Еду в Ленинград.

— Куда?.. Зачем?

Он не знал, зачем.

Ирина тоже не знала, зачем он едет и куда. Ирина вообще перестала знать о нём что-либо пять лет назад, когда собрала вещи и забрала Илью. Без крика, без посуды об пол. Просто проговорила, стоя в прихожей в пальто: «Я не знаю где ты. Я не знаю, жив ты или нет. Я так больше не могу». И он, вернувшийся тогда под утро после трёх суток, которых не было ни в одном отчёте, не нашёлся с ответом. Ей нельзя было рассказать ни про одни из этих трёх суток, а врать он не хотел.

Илье сейчас пятнадцать. Высокий, в отца. Звонит по воскресеньям и на любой вопрос отвечает «нормально».

Корсаков допил чай и посмотрел на своё отражение в чёрном стекле. Крупный, тёмный, с короткой стрижкой, с твёрдым ртом. За отражением летели огни Твери или Клина, он не разобрал. Он был доволен. Это было странное, почти забытое чувство: не облегчение после операции и не усталость после доклада, а именно довольство, тихое и тёплое, как чай в подстаканнике. Двадцать лет он работал без выходных, сутками, по ночам, в чужих городах, под чужими фамилиями. И вот, как любил говорить его первый начальник, награда нашла героя. Новые погоны. Новое назначение. Месяц, принадлежащий только ему.

Есть особый род счастья, знакомый лишь людям долгой и тяжёлой службы: счастье человека, которому вдруг ничего

не надо. Оно не похоже ни на радость, ни на покой; оно похоже на то, как снимают тяжёлые сапоги после марша, и ноги ещё не верят, что их отпустили. Корсаков ощущал именно это и, испытывая, немного стыдился, как стыдятся люди, не привыкшие получать что-нибудь даром.

Он лёг поверх одеяла не раздеваясь и уснул сразу, как засыпают на службе: выключился.

Проснулся от тишины. Колёса больше не стучали. В коридоре хлопали двери, проводница голосила про бельё, кто-то тащил чемодан, и тот глухо бился о стенку купе.

За окном, в сером рассвете, стояли перрон и табличка.

Санкт-Петербург. Московский вокзал.

II

Санкт-Петербург. 14 октября 2005 года.

На перроне пахло мокрым асфальтом, тепловозом и свежей выпечкой из ларька у входа в зал. Утро выдалось серое, низкое, с мелкой водяной пылью, которая не падала, а висела в воздухе, как в бане. Корсаков поднял воротник куртки и пошёл к выходу в общем потоке, по привычке отмечая то, чего не замечали другие: двоих парней у колонны, которые никого не встречали, а приглядывались к сумкам; милицейский наряд, слишком довольный собой, чтобы что-нибудь видеть; женщину в пуховике, которая держала перед грудью картонку и смотрела прямо на него.

На картонке шариковой ручкой крупно было выведено: «КВАРТИРА. ЦЕНТР. НЕДОРОГО».

Он собирался в гостиницу, но остановился.

— Сдаёте? – спросил он.

— Сдаю, молодой человек. – Женщина оглядела его снизу вверх, и ей пришлось задрать голову. – Однокомнатная, на Лиговском, пять минут пешком. Чисто, тепло, телефон, телевизор. На сколько вам?

— На месяц.

В её глазах что-то щёлкнуло, как в кассовом аппарате. Корсаков видел этот щелчок у сотен людей: у продавцов, у агентов, у чиновников, у тех, кто вербует, и у тех, кого вербуют. Ничего дурного в этом не было. Человек просто быстро считал.

Её звали Валентина Михайловна. Ей было под семьдесят, и она шла впереди него по Невскому так стремительно, что он, со своим ростом и своей лодыжкой, едва поспевал. Она говорила не останавливаясь: что квартира от покойной сестры, что жильцов она берёт только приличных, что москвичей вообще-то недолюбливает, но он, кажется, человек серьёзный, военный, наверное, по спине видно.

— По спине? – переспросил он.

— У военных спина как доска, – пояснила Валентина Михайловна. – У меня муж был подполковник. Тоже ходил будто аршин проглотил. Нам сюда. Осторожно, поребрик.

Он чуть не споткнулся о бордюр, который здесь, оказывается, назывался иначе.

— Это он мне за бордюр отомстил, – объявил Корсаков,

выпрямляясь. — Я его всю жизнь бордюрор звал. Обиделся.

Хозяйка фыркнула, потом не выдержала и рассмеялась по-девичьи, прикрыв рот варежкой, и дальше уже шла не так быстро.

Дом стоял на Лиговском, старый, тёмно-жёлтый, с облупленной лепниной над окнами второго этажа. Арка вела во двор, узкий и глубокий; стены уходили вверх, как стенки колодца, и небо над ними казалось серой крышкой, которую кто-то забыл снять.

— Парадная вот, — Валентина Михайловна набрала код на железной двери. — Третий этаж. Лифта нет, но вам-то что.

Парадная оказалась подъездом. Широким, гулким, с выщербленными ступенями, которые за сто лет протёрли посередине до плавной ложбины, и с перилами, где под слоем коричневой краски угадывалась чугунная вязь. На площадке второго этажа стояла заколоченная дверь, к которой не вела ни одна кнопка звонка. Корсаков задержал на ней взгляд.

— Это чёрный ход был, — бросила хозяйка, не оборачиваясь. — Для прислуги. Его заложили ещё до войны. У нас в каждом доме так.

Квартира была маленькая, чистая и пахла нафталином и чужим прошлым. Кровать с никелированными шишечками, сервант, в серванте хрусталь, на стене ковёр, на ковре фотография мужчины в форме. Телевизор «Горизонт». Телефон с диском. Окно выходило во двор, на противоположную стену, так близко, что можно было разглядеть герань на чужом

подоконнике.

Сговорились быстро. Он заплатил за месяц вперёд наличными, не торгуясь. Валентина Михайловна пересчитала купюры дважды, посплюнивав палец, и спрятала куда-то под пуховик.

— Паспорт покажите, – попросила она. – Не обижайтесь, порядок такой.

Он показал. Она переписала фамилию и серию в школьную тетрадку и вернула паспорт с уважением.

— Корсаков, – прочла она вслух. – Как композитор.

— Не родственник.

— А я и не спросила, – улыбнулась она, впервые за утро. – Ключи вот. Этот от парадной, этот от квартиры. Бельё в шкафу. Булочная за углом, булки там хорошие, утренние. Если что, звоните, номер на холодильнике.

— Батон, – машинально поправил он.

Валентина Михайловна посмотрела на него долгим взглядом, каким, наверное, смотрела на жильцов, привёзших без предупреждения кошку.

— Булка, молодой человек. Здесь не Москва!

Она окинула его с головы до ботинок, как окидывают квартиранта, которого выгонять уже поздно.

— И одеты вы, конечно, не по погоде. Курточка вон тоненькая. Хорошо хоть бадлон надели.

— Водолазку, – поправил Корсаков.

Она махнула рукой, как машут на безнадёжно больного, и

удалилась, хлопнув дверью.

Он остался один. Поставил сумку у шкафа, сунул паспорт в боковой карман сумки, мобильник положил на тумбочку. Постоял у окна. Герань на подоконнике напротив была красная. В колодце двора кто-то выбивал ковер, и звук шёл вверх, гулкий и одинокий, как выстрелы на дальнем стрельбище.

Чужой, подумал он без всякой обиды. В родном городе. Уже на вокзале чужой.

Это его даже развеселило.

III

Санкт-Петербург. 15–17 октября 2005 года.

Три дня он ходил.

Не по путеводителю и не по музеям, а так, как его когда-то учили ходить по незнакомому городу: сворачивая туда, куда не идёт толпа. Невский он прошёл один раз, от вокзала до Адмиралтейства, и больше туда не возвращался. Невский был витриной, а его интересовало то, что за витриной.

Витрина, впрочем, тоже кое-что дала. На Исаакиевской площади, у памятника Николаю Первому, экскурсовод с мегафоном растолковывала группе пенсионеров из Самары, что конная статуя стоит на двух точках опоры, а впереди, за собором, на Сенатской, тоже на коне, скачет Пётр, и оба смотрят в одну сторону. И что в народе про них давно сложили: дурак умного догоняет, да Исаакий мешает. Пенсионеры засмеялись. Корсаков засмеялся тоже и подумал, что у города, который так шутит над собственными императора-

ми, характер, видимо, тяжёлый, но с ним можно иметь дело. Он ходил дворами. Петербург, как выяснилось, состоял из дворов так же, как Москва состоит из улиц. Из арки попадаешь во двор, из двора в другой, из другого через подворотню на соседнюю улицу, и всё это без единой таблички, по памяти тех, кто здесь живёт. Дворы были жёлтые, серые, облупленные, с ржавыми водостоками, с крышками люков, с котами на этих крышках, с поленницами, которые кто-то ещё зачем-то хранил у глухой стены. Над иными дворами небо было размером с носовой платок.

Он замечал то, чего не видел никто, и знал, что замечает. Заложенный кирпичом дверной проём на первом этаже, где кирпич был другого цвета, и по цвету можно было сказать, когда его заложили. Окно, нарисованное на брандмауэре, чтобы стена не казалась слепой. Старую чугунную тумбу у ворот, которую ставили, чтобы колёса экипажей не обдирали угол. Каждый двор, думал он, похож на допрос: если долго и правильно смотреть, он рано или поздно проговорится.

На Лиговском, на торце одного дома, где отвалился кусок штукатурки, проступили буквы. Старые, чёрные по выцветшему, с завитками. Он задрал голову и долго разбирал. «...ОВАЯ ТОРГОВЛ...» и ниже, крупнее: «ХЛ...БЪ». В конце слова стояла буква, похожая на мягкий знак с перекладиной. Он знал, что это ять, читал когда-то в детстве, но разобрать слово сразу не смог и какое-то время стоял, шевеля губами, как первоклассник: хлеб. Конечно, хлеб. Ему стало смешно

и немного досадно. Двадцать лет его учили читать спрятанное, а явное, выведенное аршинными буквами, он одолел со второй попытки.

В воскресенье он съездил на метро до «Проспекта Ветеранов» и пешком дошёл до Ульянки. Мать как-то обмолвилась, что они жили там. Улицу она не помнила, дом тем более. Он постоял среди одинаковых пятиэтажек шестидесятых годов, серых, с балконами, завешанными бельём, с голыми тополями во дворах. Ничего не дрогнуло. Ни одно окно не шепнуло ему: здесь. Может быть, так и должно быть, подумал он. Человек, всю жизнь изучавший чужие биографии, приехал за своей, а своей не оказалось. Был дом, похожий на тысячу других, и было небо, высокое и белое, как в том единственном воспоминании. Но небо одно на всех.

Вечером у метро он взял в ларьке шаурму.

— Шаверму, – поправил продавец, протягивая свёрток через окошко. – Уважаемый, шаурма у вас в Москве.

— С чего вы взяли, что я из Москвы?

— Так вы сказали «шаурму», – с терпением, с каким разъясняют очевидное, ответил продавец.

На Пушкинскую он попал случайно в понедельник днём, свернув с Лиговского в арку. Двор оказался неожиданно живым. Стены были расписаны от земли до третьего этажа, где-то брэнчала гитара, у дверей с самодельными вывесками курили молодые люди в чёрном, на скамейке спал человек с бородой. Здесь был, как ему объяснили, арт-центр: галереи, ма-

стерские, клуб, музей какого-то неофициального искусства. Он прошёл двор насквозь и вышел во второй, тише и темнее первого, где стоял старый каменный дом с высокими окнами и чугунными перилами крыльца.

Бородатый проснулся и сел.

— Ищите чего? – прохрипел он. – Галерея закрыта. Понедельник.

— Просто смотрю.

— А, смотрите. – Бородатый зевнул и почесал под шапкой. – Смотреть тут есть на что. Этому дому сто тридцать лет. Место, говорят, гиблое. Люди тут пропадают. Ещё до революции пропадали. Зайдёт человек во двор, и тю-тю: обратно не выйдет.

— И куда девается? – осведомился Корсаков с вежливым интересом человека, который выслушал на своём веку тысячу легенд и ни одной не поверил.

— А кто ж его знает. – Бородатый лёг обратно и закрыл глаза. – Брешут, конечно. Художники вообще брешут. Особенно трезвые.

Корсаков усмехнулся и пошёл к арке. Небо над двором впервые за четыре дня очистилось. Синоптики по радио обещали ясную ночь и заморозок.

IV



Пушкинская улица. Ночь на 18 октября 2005 года.

Спать не хотелось.

Он лежал на кровати с никелированными шишечками, смотрел в потолок, по которому изредка проползал отсвет фар со двора, и думал о том, что за двадцать лет разучился отдыхать. Тело лежало, а голова работала: перебирала лица с вокзала, буквы на стене, бородатого на скамейке. Сто тридцать лет. Гиблое место, люди пропадают. Он знал, откуда берутся такие истории. Из пьяных, которые уходят и не возвращаются, из долгов, из семейных драм. Из скуки. Из желания, чтобы у твоего двора была тайна, а не только запах кошек.

В половине двенадцатого он встал и оделся.

Собирался он, как всегда, коротко. Джинсы, водолазка, куртка. Немного денег во внутренний карман. Связка хозяйственных ключей с пластмассовой таблеткой от домофона. Служебное удостоверение он, подумав, тоже взял: красную книжечку в ладонь величиной, с которой не расставался двадцать лет и без которой чувствовал себя так, словно вышел без кожи. Паспорт, телефон и бумажник остались в сумке у шкафа. Профессиональная привычка: в карманах должно быть только то, без чего нельзя, и ничего, что расскажет о тебе больше, чем нужно.

На Лиговском было пусто и светло. Мороз прихватил лужи по краям тонкой белой каймой. Луна висела над крыша-

ми огромная, чистая, без единого облака, и света от неё было столько, что дома отбрасывали на мостовую тени, как днём. Корсаков шёл и чувствовал, как с каждым шагом уходит из головы мусор: доклады, приказы, Ирина в пальто в прихожей. Он поймал себя на том, что улыбается.

Арка дома пятьдесят три была открыта. Первый двор спал. Граффити на стенах в лунном свете потеряли цвет и стали похожи на тени от несуществующих предметов. Где-то за стеной глухо били басы, то ли в клубе, то ли у соседей. Он прошёл через двор и вышел во второй.

Здесь было тихо.

Такой тишины в городе не бывает, подумал он и тут же поправил себя: бывает, в колодцах. Камень глушит. Луна стояла точно над двором, как лампа над операционным столом. Старый дом с высокими окнами был тёмн, ни одного огня. За спиной раздались шаги.

Он не вздрогнул: двадцать лет учили не вздрагивать. Сделал ещё два шага, как ни в чём не бывало, и только потом обернулся плавно, всем корпусом, оставляя руки свободными.

Никого.

Арка за ним зияла пустая и чёрная. Двор был пуст. Шаги, твёрдые, неторопливые, с лёгким пристукиванием, словно у идущего были подбиты каблуки, звучали ещё полсекунды и смолкли. Эхо, сказал он себе. Колодец. Звук с улицы.

Он знал, что это не эхо.

Он постоял, вслушиваясь. Потом двинулся дальше, к середине двора, где лунный свет лежал на булыжниках ровным белым прямоугольником, будто кто-то вырезал его из бумаги и положил.

На третьем шаге воздух стал гуще.

Сначала он не понял, что происходит. Просто идти стало труднее, как идут против сильного ветра, только ветра не было: ни одна бумажка на земле не шевельнулась. Он сделал ещё шаг, и воздух сгустился, как кисель. Тёплый, плотный, он лёг на лицо, на грудь, на руки, и каждое движение приходилось проталкивать сквозь него.

Сердце ударило один раз, тяжело.

Он поднял руку к лицу. Ощущение было такое, словно он вошёл в незримую паутину, огромную, во весь двор, и её нити облепили лоб, щёки, ресницы. Он провёл ладонью по лицу. Ничего. Кожа была сухой и чистой. Посмотрел на руку в лунном свете. Ничего. Глаза его не обманывали, он видел двор, дом, луну, булыжники. Обманывало всё остальное.

Отпрянуть, приказал холодный голос внутри, тот, что столько раз его выручал. Назад. Шаг назад, и ты выйдешь. Не знаешь, что это, не лезь.

И другой голос, тот, с которым он всю жизнь воевал, вспыльчивый, упрямый, огрызнулся: вот ещё.

Его разозлило, что его не пускают.

Он наклонил голову, как наклонял её на ковре перед броском, упёрся правой, здоровой ногой и пошёл вперёд, всем ве-

сом, всей своей массой почти в центнер, продавливая невидимую стену грудью, плечом, лбом. Кисель держал. Тянулся. Звенел в ушах тонко, на одной ноте. Ещё. Ещё.

И прорвался.

Его бросило вперёд, как бросает человека, который всем телом налегал на запёртую дверь, а её вдруг открыли изнутри. Он практически пробежал три шага, удерживая равновесие, и встал. Воздух стал лёгким, острым и холодным, разреженным, как на перевале, и он захватил его ртом. Уши заложило так, что мир на секунду исчез.

Он зажал нос двумя пальцами, надул щёки и продул уши, как делал сотни раз, поднимаясь с глубины. В ушах щёлкнуло. Звук вернулся.

Точнее, вернулась тишина.

V

Пушкинская улица. Ночь на 1 октября 1905 года.

Басы за стеной смолкли.

Это он заметил первым, раньше всего остального, потому что слух у него был натренирован лучше глаз. Пропал не только клуб. Пропал звук, которого он не слышал, пока тот был: ровный, низкий гул большого города, где всегда где-то едет машина, гудит вентиляция, дышит под ногами метро. Город двадцать первого века никогда не молчит до конца. Этот молчал.

В тишине фыркнула лошадь. Совсем близко, за стеной, в каком-то сарае. Переступила копытами по деревянному на-

стилу и вздохнула по-лошадиному, длинно.

Корсаков стоял неподвижно и смотрел.

Двор был тот же. Тот же каменный дом с высокими окнами, те же стены, уходящие вверх колодцем, та же луна, белая и огромная. Но стены были чистые: ни одной надписи, ни одного рисунка, ни одной ржавой антенны на крыше. Ровная жёлтая штукатурка, местами облупившаяся, местами свежая. На окнах первого этажа стояли решётки, которых только что не было. Чугунное крыльцо, выкрашенное и целое, без единой щербины, блестело под луной.

Он обернулся туда, откуда пришёл.

Арки не было.

На её месте стояла глухая стена в два этажа, а под стеной тянулся ряд дощатых сараев с висячими замками, и вдоль сараев до самого верха были уложены дрова, ровно, полено к полону, берёзовые, белые в лунном свете. Пахло этими дровами, сырой корой, конским навозом, дымом и ещё чем-то тяжёлым, тёплым, отхожим, отчего его городской нос в первую секунду дёрнулся.

Он поднял голову.

Над колодцем двора стояло небо, какого он не видел над городом никогда. Луна заливала половину, а на другой половине горели звёзды густо, россыпью, и между ними лежала бледная, размытая полоса, которую он узнал не сразу. Млечный Путь. Над Лиговским проспектом. Над центром города, где фонари и рекламы выжигают ночное небо до ровной

оранжевой мути.

Фонарей не было. Реклам не было.

Внутри у него что-то стало очень тихим и очень холодным. Так бывало в первые секунды после того, как операция шла не по плану: чувства отключались, как отключают свет в здании при пожаре, и загоралось аварийное освещение, тусклое, ровное, при котором видно только самое нужное. Голова работала ясно и быстро.

Первое: съёмочная площадка. Нет. Он видел съёмки, и не раз. Там всегда кабели, грузовики со светом, люди с рациями, кофе в пластиковых стаканчиках, охрана. Здесь не было никого. И никакие съёмки не уберут звёзды.

Второе: он упал, ударился головой, лежит без сознания во дворе, и всё это сон. Он прикусил щёку изнутри сильно, до вкуса крови. Боль была настоящая. Холод был настоящий. Запах был настоящий, такой, какой не приснится.

Третье.

Третье он знал, только не хотел пока называть.

В детстве, в Москве, в той квартире на Соколе, где он вырос, у него была полка с книгами, и на этой полке стоял затрёпанный Уэллс, и «Янки при дворе короля Артура», и ещё какие-то сборники фантастики в мягких обложках. Он читал их запоем, под одеялом, с фонариком. Про людей, которые проходили через дверь и оказывались в другом времени. Потом он вырос, стал тем, кем стал, и давно перестал верить во что бы то ни было, чего нельзя проверить.

Удивительно, как скоро взрослый человек расстаётся с детскими книгами и как охотно они возвращаются к нему в ту минуту, когда взрослые объяснения кончились. Они ждут его, как ждут у порога старые собаки, не обижаясь на долгое отсутствие.

Значит, надо проверить.

Ворота во двор были закрыты на засов. У ворот, на лавке под навесом, спал человек в тулупе, укутанный по самую шапку, и на груди у него поблёскивала в лунном свете медная бляха. Дворник. Рядом с воротами была калитка. Корсаков подошёл к ней так, как подходил когда-то к чужим дверям в чужих городах: перекатывая стопу с пятки на носок, не дыша, считая шаги. Калитка была заперта на щеколду изнутри. Щеколда поддалась без звука. Дворник всхрипнул и не проснулся.

Улица была вымощена булыжником. Вдоль неё на чугунных столбах горели фонари, редкие, тусклые, с живым жёлтым огнём, подрагивавшим за стеклом. Газ, понял он. Это газовые фонари. Дома стояли те же, он узнавал их силуэты, крыши, эркеры, но в окнах не было ни одного стеклопакета, ни одной спутниковой тарелки, ни одного кондиционера. Стёкла в рамах отражали луну неровно, волнами.

Он дошёл до угла и повернул на Лиговский.

Лиговский был другим. Шире и темнее. Ни троллейбусных проводов над головой, ни разметки, ни светофоров. Булыжник блестел под луной, как рыба чешуя.

И по этому булыжнику, гремя ободами, прямо на него катилась пролётка. Лошадь шла рысью, пар валил у неё из ноздрей. На козлах сидел мужик в тёмном армяке с огромной бородой, и на спине у него белел номер.

— Поберегись! — заорал извозчик, привставая. — Куда прёшь, чёрт долговязый! Поберегись!

Корсаков отступил на тротуар.

Пролётка прогремела мимо и ушла в темноту, в сторону вокзала. Извозчик ещё раз обернулся и выкрикнул что-то неразборчивое и обидное. Корсаков стоял на краю тротуара и смотрел ей вслед.

Первый же местный житель, с которым он свёл знакомство, назвал его чёртом, подумал он. Для начала неплохо. В Москве его так называли только после третьей встречи, а в управлении после первого доклада.

Первое слово, которое он произнёс в новом веке, было его собственное, служебное, каким здесь ещё никто не отвечал. Он сказал его вслух и очень тихо.

— Принято.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.